

авантюриста становились вновь теплыми и живыми. Тусклые глаза его, глядевшие в сторону, постепенно оживлялись.

— Я скажу вам одну только вещь, чтобы доказать, что я не фантазирую и не ошибаюсь, — сказал Эдгар. — Я вижу у вас с левой стороны груди почти над сердцем, чуть-чуть ниже, белый шрам. Откуда он у вас?

Анна Сергеевна, зная, что Эдгар не мог видеть шрама, вздрогнула.

— Это оттого, — сказала она упавшим голосом и опять побледнев, — что я еще девочкой ранила себя, споткнувшись о крыльцо и наткнувшись грудью на острую железную скобку, о которую вытирают сапоги, когда бывает грязь или снег. Но неужели вы это видите?

— Вижу, — уныло сказал Эдгар. — Я вижу еще одно: у вас скоро будет ребенок.

— Это неправда, — сказала Анна Сергеевна, покрасневшая, как девушка.

— Моя дорогая, — сказал авантюрист изменившимся голосом, который показался Анне Сергеевне бесконечно давно знакомым, — не поймите меня плохо. Я знаю, что вы живете сейчас одна. Нет, я говорю не так и не потому, как вы сначала подумали. Но всякое событие, прежде чем оно происходит в действительности, уже существует. Так, в этой комнате уже существует рождение вашего ребенка, которое я вижу еще и потому, что

знаю, что они скажут; я вижу всегда — умрет ли этот прохожий насильственной смертью или у себя дома; я узнаю шулера до того, как он возьмет карты в руки, и вора, который вдалеке пройдет по улице. Я знаю, как и почему женщина, с которой я говорю, будет меня любить, и почему потом она будет плакать. Я слышу звон снега и слова, которые еще не произнесли, но сейчас произнесут; я угадываю с закрытыми глазами, найдется ли в доме, куда я вошел в первый раз, мужчина или женщина; я чувствую, как тяжелым облаком летит в воздухе война, о которой еще никто не думает; и, сидя в Лондоне, я слышу, как трещит и содрогается корабль, который сейчас пойдет ко дну в середине Тихого океана. Но я не знаю, почему я обречен этим мучениям и в силу какого страшного закона я живу, окруженный десятком смертей в день.

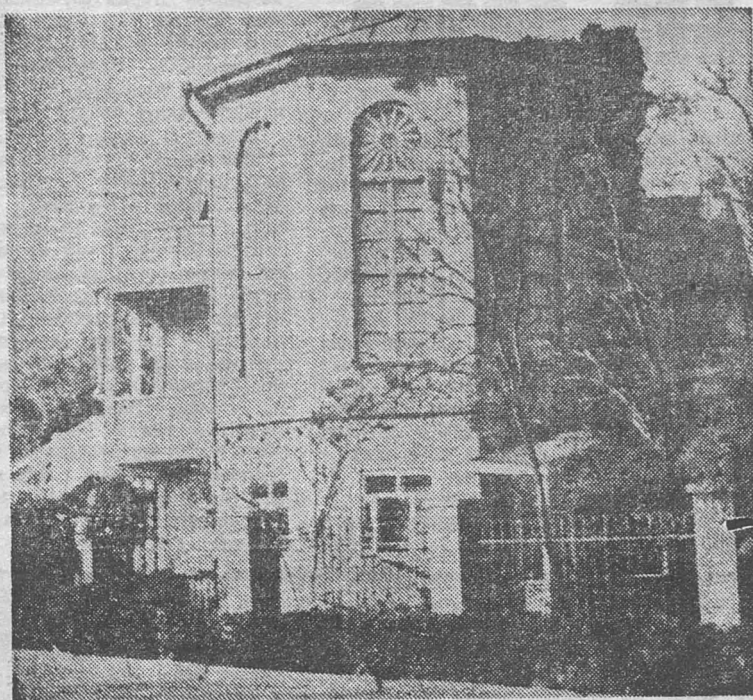
Вспоминая потом об этом разговоре и о том, что случилось затем, Анна Сергеевна всегда испытывала тоску и стеснение в груди, как будто бы дорогой и близкий ей человек находился в смертельной опасности. Она подошла к авантюристу, села рядом с ним и начала гладить его волосы.

— Бедный Эдгар, — бормотала она, — бедный Эдгар!

Он поднял ее ослабшее от волнения тело, подхватив его в талии и несколько выше

ДОМ БЕЗ ПОЭТА

Натаалья РУБИНШТЕЙН



При жизни Максимилиана Волошина [1877—1932] его дом в Коктебеле был открыт для всех. Гостили там и Николай Гумилев, и Марина Цветаева, и Осип Мандельштам, и Андрей Белый... И множество других людей, знакомых и незнакомых вовсе, — все те, кто нуждался в приюте и успокоении и кому посчастливилось узнать про «дом Макса». Мария Степановна осталась верна заветам мужа. Во время войны, когда Крым захватили немцы, волошинский дом стал связным пунктом для партизан, лазаретом для черноморских моряков. А потом...

Она вообще не любила «слушаться», и хотя годы и нездоровье гнули ее и увеличивали бытовую зависимость от окружающих, вдруг ошарашивала приближенных, сложивших вокруг дома некое подобие «двора», разносами, скандалами и бунтами. И бывала временами чудовищно несправедлива к самым близким и преданным людям. И как сокрушалась потом:

— Самодурка я. Да. Жизнь меня не баловала. А вот друзья забаловали под старость. А что хуже избалованной старухи? Хотя у меня и смолodu характер был ни к черту. Я и Дом-то сохранила только потому, что характер страшный. Немцы пришли когда. Один вошел в дом. Ну, приглянулась ему статуэтка. Взял и в мешок класть хочет. А я к тому времени все, что важно, в землю закопала, и Таиак закопала, и другое все. Совсем почти одна. А эта вот стояла. И тут немец ее взял. Налетела я на него, кричу: «Я тебе в матери гоюсь, сопляк, в матери. Муттер я, понимаешь, муттер. А ты вор, вор...» Ну, он видит — сумасшедшая баба, ведьма. Выругался, фигурку бросил и ушел...

Я раз сказала:

— Как это вы, Мария Степановна, Дом от немцев, от разгрома уберегли...

Но мне даже и фразу не удалось кончить, так она засмеялась:

— Скажешь тоже, от немцев. Ты вот спроси, как я от наших уберегла! Я и сама удивляюсь.

Впрочем, среди коктебельских отдыхающих, и «рядяньских писемников», и простых смертных, именуемых «дикарями», всегда жило желание видеть волошинский дом своим, уже омузеенным, уже доступным, как дом Чехова в Ялте, как яснополянский дом Толстого, Михайловское или Тарханы... Они толпились у крыльца, собираясь в группы, требуя экскурсий, показа, рассказов... И их обижали наглые заявления хозяйки, что не в музее она живет, а в доме, в собственном доме, где гостей принимает и беседы ведет исключительно по своему вкусу и выбору. Самостоятельные экскурсанты не понимали этой мерзкой тяги к ограждению своей личной собственности. Ведь они точно знали, что искусство принадлежит им, народу, и прошлое принадлежит народу, то есть им тоже. И, не дожидаясь смерти этой старорежимной старухи, они хотели щупать это прошлое руками тут же, у нее на глазах, по праву истинных наследников. Ведь единственно действующее ныне в России право культурного наследования — узурпация. Мария же Степановна была той частью волошинского наследства, от которого они готовы были с радостью отказаться — выселить, чтобы не мешала; да в крутые прежние дни упустили, — кому был нужен забытый дом полузабытого поэта в глухом коктебельском углу; а уж в нынешние мягкие времена как-то и неудобно было. Приходилось ждать.

* Материал полностью будет опубликован в журнале «Нева».

Но не каждой же группе отказывала Мария Степановна. То пригласится чье-то лицо в небольшой толпе: «Ради этих вот двоих и всех пускаю», то попросит профессор, давний знакомый, за своих студентов, да и начальству из Дома творчества не всегда откажешь — от него и покой зависит, и дрова зимой, и обед из писательской столовой. А когда и рада была рассказать. И рассказывала... О Пра, и о Максе, и о докторе Юнге, первооткрывателе Коктебеля для колонизации русской интеллигенции, о странствиях, о встречах, о поэтах, о художниках...

Вот группа рязанских писателей интеллигентно слушает... ну и вопросы задают... А как же? Самое это их неотъемлемое право задавать вопросы, расширять кругозор, повышать идейно-политический уровень. Вот один, с начальственным раздобревшим лицом лакает:

— А пенсию, Мария Степановна, получаете от советской власти?

— А как же. От смерти Максимилиана Александровича и до недавнего времени двести рублей старыми деньгами.

У жирного вопроса больше нет. Но тут уж кто-то попросит изумленно ахает:

— Да как же вы жили на такие деньги?

— А на милостыню, — безо всякого выражения отвечает она, — максовых друзей подаванием.

И радовалась посетителям, и уставала от них, и обижалась, если не приходили, и гнала, если надоедали. Раз пришел мальчик лет девятинадцати, Миша Г., ничей знакомый. Просится только почитать.

Пять толстых машинописных томов — три стихов и два прозы — в сером коленище всегда лежат на столе в мастерской. Хотя сейчас можно нести в издательство. Да не видно было издателей. И такой вопрос у экскурсантов был тоже: «Почему не издают книг Волошина?» Мария Степановна привычно отвечала: «Вот и я вас о том же спрашиваю». Или: «Вы писатели, вы и похлопочите».

В годы нашего оживленного интереса к «Новому миру», Твардовскому — она нашего увлечения не разделяла. О Твардовском рассказывала:

— Был он тут. Говорили ему, стихи носили. Да он и читать не стал. У него уж было мнение: Волошин, сказал, незначительный поэт, справедливо забытый. Да уж конечно, — «справедливо»! Он-то сам до тех пор только значительный поэт, пока Волошин справедливо забытый!

Так вот в единственном машинописном экземпляре лежали на столе в мастерской «Сочинения» Волошина — не решаюсь назвать, чьим трудом подготовленные, хотя все, кому надо, и так знают, — и пришел черненький щуплый студент Миша Г., и стал проситься читать. А Мария Степановна как раз была не в духе:

— Я даю читать сочинения Макса, но только своим знакомым или уж знакомым

[Окончание на 14-й стр.]